

ВОСПОМИНАНИЯ

Сергей Рейман

ОХОТА НА УРОДА
(отрывок из повести-хроники)

Вольский вытянулся на жестком топчане и в приоткрытую дверь, сквозь щелку, увидел, что кухня пуста. В прихожей также было тихо, и он встал, поеживаясь и кутаясь в ветхое одеяло, подошел к окну в нише, чтобы полить цветы. Они не цвели вот уже третий год, но он изо дня в день все поливал их, надеясь, что вот-вот зацветут, но они все не цвели, а он все поливал их, иногда по два раза в день — утром и вечером, а забывая поливать, очень огорчался.

Какова же была его радость, когда он увидел, что ящик сегодня полон тонких нежных ростков. Еще вчера их не было, а сегодня они пробились среди заскорузлого мха и пожелтевшей земли. Кроме них за окном рассматривать было нечего. Тянулись бесконечные серые, черные, красные ржавые крыши, редкие крестовины антенн, и в этой пустоте эти ростки были символом жизни, существующей и в пустыне.

Солнце затерялось где-то среди крыш, но было и в этот ранний час по-весеннему тепло, и Вольский видел далеко в пустыне светлую полоску. Это река текла. Полоска была необычайно узкой и прозрачной, почти призрачной, но Вольский видел ее отчетливей, чем обычно, и даже различил над ней тени каких-то птиц, и как будто бы даже услышал их гортанные крики. И снова давешний темный лес всплыл перед глазами, снова из темноты в темноту глянули зрачки совы. Вольский вздрогнул и огляделся, и, хотя в комнате никого не было, он плотно закутался в ветхое одеяло, как будто

сквозь прорехи кто-то мог увидеть его щедушную, нагую плоть.

Забившись в угол ниши, он напряженно всматривался и прислушивался к тому, что было ведомо только небу.

Вольский был поэт и давно писал. Очень долго он ничего никому не показывал и не читал, лелея каждую строку про себя. Найдя нужное слово, долго сохранял его в тайне, не решаясь произносить вслух, такую оно таило в себе силу. Слово пронзало его насквозь, так что становилось сразу и жарко, и жуткий холод охватывал все тело, и тогда, куда бы он ни пошел, — везде он знал, что оно есть для него то единственное, что связывает его с этой жизнью, и нет на свете ничего другого, что могло бы так питать его и толкать его кровь. Ежедневно и ежечасно, — да что там, господи! — ежемгновенно преодолевая себя, входил он в чистую воду вдохновения, и дух соприкасался с бессмертием. Литании, эпиталмы, гимны солнцу, сомнению и радости, опора в мироздании и созерцание ее в обратной перспективе, в сердце, — вот в чем было его *сredo*, вот в чем была его сущность. Он наблюдал мир одно единственное мгновение, с одной единственной точки, а в следующее — с другой, и, стало быть, иначе. Он сознательно заглядывает в пропасть и, удерживаясь на краю ее, молится о спасении души, а испросив прощения, жаждет иной вершины, где обрыв еще круче, еще опасней, и чем круче он и опасней, тем томительнее становится его жажда, и, задержавшись одно мгновение, "постояв на краю", он обретает свободу, в то время как другие в ужасе отпрянули и погибли, не в силах не то что преодолеть, а только подумывать об этой головокружительной высоте безмолвия и веры.

А он, один на один с природой своей и мира, писал стихи собственным сердцем, ощущая каждый произносимый звук каждым своим нервом, настигая его в момент рождения и смерти, с каждым звуком умаляя себя, и не представляя себе процесса творчества иначе как в этом поединке с двумя противниками одновременно.

А силы были неравны.

Но это-то и радовало его, это подстегивало и окрыляло,

именно это уже само по себе сулило мгновения удачи, воплощение ее в слове и мгновенное удаление его в глубины познания Отца, Сына и Святого Духа, сплетение их в единое целое. Только тогда и рождалось новое естество, обретая плоть, наделенное теплом, существовало оно, не нуждаясь более ни в чем, кроме себя самого.

Теперь же страшная мысль закрадывалась в его сердце: что, если теперь — конец, что, если теперь и этого нельзя. Нельзя не только что произнести, нельзя помыслить, нельзя искать слов, хранить их; можно только молчать, и про себя, и везде, и всегда, и повсюду хранить молчание и в его пустоте жить ради него самого.

"Нет, нет — этого не может быть, это невозможно, так не бывает. Как жить без слова? В нем едином и есть жизнь, в нем одном она постигается и запечатлевается навсегда и вместе с ним она не исчезает, ибо оно вечно. Нет, нет! как же это, ведь оно выше жизни, оно порождает ее, и смерть подвластна ему, а оно свободно и в жизни и в смерти, и в самом себе безгранично".

Отчего же такие напасти преследуют его? Может быть, это все из-за Брандта?

Из-за Брандта? — Но ведь он никому не желал зла, а получилось все в результате скверно. Они расстались как-то внезапно и несуразно. Может быть, виноват К.К.Кузьминский? — но ведь он собирал и хранил рукописи всех, кто был ему известен, а Петр был единственный никому не известный, и Вольский нашел его и привел, и получилось плохо. Как же это получилось?

Последний поэт

Кузьминский хлебнул из чашки, стоявшей на маленьком столике возле дивана, и закурил очередную сигарету.

Часы пробили два.

Возле него, разметав на подушке неопределенного цвета волосы, спала Эмилия Карловна — его жена. Во сне она бормотала и пришепetyвала: вероятно, ей казалось, что она, наконец-то, выпалась.

Это была третья по счету жена Кузьминского.

От первого брака ничего не осталось, даже воспоминаний, да и был ли он?

От второго, впрочем, тоже: чай с засохшими бутербродами, салонная дребедень. А он — совсем на другой орбите: одинокий и замкнутый. Когда родилась дочь, о нем и вовсе забыли, и только иногда жена, лежа на козетке, покуривая пахитоски, говорила:

— Котик, вы не сварите ребенку молока?

И он шел кипятить молоко, а жена продолжала лежать на козетке, покуривая пахитоски, а когда он ушел, этого даже никто не заметил. От второго брака детей не было, и, вероятно, единственное достоинство второй супруги заключалось в том, что она преподавала физику на польском языке.

Иное дело Эмилия Карловна. Здесь — домострой, рабство, диктат. И зовет он ее Мышью, видимо, неспроста.

Под кроватью^{козетка} выкусывая блох, тощая сука Надежда Константиновна. Как она попала к нему, он и сам уже позабыл. Вдоль тела скользнула и высунулась из рукава головка полоза.

— Ну, чего тебе? — спросил Кузьминский голову, но полз уже спрятался, свернулся в широком рукаве халата.

Красный халат на сером фоне.

Так написал его портрет друг Шемякин. Да... Написал и уехал.

Звонит чуть ли не каждый день, звонит из Парижа, зовет к себе, а он и рад бы, да много работы.

Продолжение "Живого зеркала", куда вошло 14 имен, чтобы доказать "преподобному" Иосифу, что Петербург жив, что интерес представляет собой не только В. Марамзин.

Изданию этой книги сильно помог отец Алипий — настоятель Псковско-Печерской лавры, лишенный возможности принять в свою обитель художников и поэтов, но крестивший и благословлявший людей, чей путь был тернист и тяжел.

Выставка "Под парашютом", превосходившая и количеством и качеством вернисаж в ДК им. Газа, где отсутствовали лучшие работы А. Геннадиева, где не было полотен Е. Мухомова и В. Левитина, художников, принадлежавших к исчезающему, а

возможно, уже исчезнувшему племени подпольных людей.

Перспектив выставк современной фотографии, где, как всегда, соперничали два Бориса: Гран и Пти.

Куча незаконченных дел.

Живопись, фотография, поэзия и даже скульптура в бронзе, изображающая поэта в момент вдохновения.

Дела, дела...

Так и не увиделся с Татьяной Григорьевной Гнедич.

Договорились, что она оплатит такси до Царского и обратно. Вышел из дому: холод, метель. Так и не съездил. Жаль, что его переводы из Байрона не вошли в последнее трехтомное собрание — "Стансы, написанные в грозу", "Стансы для музыки", "Прощание с Мальтой", "Моему сыну" — дожидаются своего издателя.

Нет, он не винил ее. Да и то сказать: четверть жизни "на зоне" — не шутка. Два года "одиночки" без книг. Записи переводов, сделанных на память во время допросов, когда подворачивался лишний листок бумаги. Ведь она же сочувствует, страдает, — а все-таки жаль....

Кузьминский снова закурил.

Зашипели часы и, отдуваясь, пробили три раза. За окнами еще темно, но до рассвета уже недалеко.

Господи, ведь это, пожалуй, хуже сумасшедшего дома — тащить такой воз, оставаясь самим собой, сидя на дереве, раскинувшем свои ветви над забором "психопрома".

— Больной Кузьминский, сойдите с дерева! — кричала снизу накрахмаленная нянька.

— А вот не сойду, — отвечивал Кузьминский, помахивая пушистой лапой, — ни за что не сойду:

Марихуана, кайф.

Фиакр сел в факир.

Марихуана;

лафа,

лама,

Самарканд.

Мохер,

массуется,

торчок.

На "коду" - "нокс":
Колеса не стоят.
Трава, трава, трава,
сухое, анаша.
на баш
набить, шабить,
забыть -
Тебя - марихуана.
Нештяк.

(Из первой книги "Нештяков")

Такая эксцентричность, буффонада, фарс были присущи ему, сосуществуя, однако же, с чисто лирическими вещами:
Сезон осенний. В небе сизом
Разрывы туч. Дожди в Алушке
И ночь.

Обалделая нянька стоит, открыв в изумлении рот, а Кузьминский тем временем уже поганит на кухне чифир.

А люди все идут и идут в маленькую квартиру на Галерной.

Толпы волнами поднимаются в пятый этаж. Американский консул по вопросам культуры Шейн с интересом рассматривает стены, сплошь покрытые живописью.

Кузьминский лежал на диване почти в центре комнаты, он курил, пил крепчайший чай и рассматривал публику. Казалось, что прирос к этому дивану, что он так и уедет, шепнув: "А ну-ка, диван, ступай в Париж!"

А между тем он в это время сделался стержнем, на который наматывались, как на веретено нить, жизни и судьбы других людей.

Бедные люди!

Куда, в какие эмпиреи вознесет их его отъезд за рубеж?

Бедные люди!

Их можно убедить в чем угодно: в том, что они талантливы, и в том, что бездарны; в том, что их ожидает великое будущее, или что оно безнадежно.

Стихи их, давно собранные и заключенные в папки, стоят на полках. И те, что напечатаны, и те, что ждут своей

очереди, которая все возрастает.

Кузьминский знал их всех.

Вот он, поэт № 1, столп всея Руси, пока еще безбородый и холостой — О. Охалкин, сидящий под толстым суком в форме фаллоса, на конце которого, нежно охватив его шейку, раскачивается розовая бальная туфелька.

Восходящая звезда — "единоверный знак — благой надежды и отрады" — Б. Куприянов, вечно ругавший Кузьминского "старым дураком" и "невеждой", на что тот неизменно отвечал: "Пусть-ка поучится сначала русскому языку".

Похожий на барсука Петя Чейгин — неизменная цель насмешек Кузьминского: "Один Чейгин (вполне достаточно одного) кидался в баб стаканами, и за это был принят в Союз писателей", — говорил Кузьминский воодушевленно.

"Ты что — серьезно?" — багровел Чейгин.

"Абсолютно!"

Очумевший Чейгин выбегал вон, чтобы вскоре вернувшись, выслушать новую колкость.

Нужно сказать, что Кузьминский, занимая всего только шестое место (№ 6) в своеобразной иерархии второй литературы, о чем свидетельствовал плакат "покойного" А. Б. Иванова, мало придавал внимания рангам и званиям, разгуливая по Невскому в кожаных штанах с массивной суковатой тростью в руках и распахнутой на груди рубахе, так что виден был довольно больших размеров крест, вызывая всеобщее недоумение, — этот человек без селезенки, расплатившийся ей за свою прямолинейность и несдержанность.

Уезжая, он хотел прихватить с собою как можно больше стихов, а Вольский помогал ему разбирать архивы. Кроме того, на него была возложена задача познакомить, свести его с П. Брандтом — одним из немногих, если не единственным, чьих стихов у него не было, — человеком, чуждым всех и всяческих салонов, каких бы то ни было объединений, одинокого и гордого своим одиночеством.

Разыскать его было просто.

Ежедневно с 12 часов до 2-х его можно было застать в "Сайгоне" или в "Жигулях", куда он перекочевал с Малой Садовой.

Я — король замусоленных стоек,
Добрый гость проходных дворов.
Раскрутись желтым ветром невских запоев,
Звон никольских колоколов. —

Писал он десять лет назад.

Пьяные от зари до зари
Гудят на Владимирском "Жигули".

Да, разыскать его было легко.

Гораздо труднее было поговорить с ним о его творчестве.

Вольский знал его давно, виделся с ним не так уж редко, но он держался особняком, хотя и был "своим" человеком среди разношерстной публики кипучего Владимирского проспекта.

Господи!

Мне ли быть им в укор?
Я сын ленинградских дворов.
Я совершенно случайно не вор
И поэтому за воров.

Позже Вольский понял, что притягивало его там: независимость этих людей, их собственные, нигде не записанные законы, их анархия, неподвластная непреложным правилам поведения большинства граждан.

Я люблю въезжать новоселом
Под мост, как залетный стриж,
Люблю коровод веселых
Беспутных московских крыш.

Я люблю поймать на перроне
Назло уходящему дню
В случайном почтовом вагоне
Гулящую девку

Далеко не сразу разговорились они о главном.

Но когда встречи их стали ежедневными, разговоры откровенными, речи доверительными, а уж тем более с тех пор, как однажды, в холодную зимнюю ночь, у печки, где трещали

обломки собранных на помойке стульев, в доме бывш. поставщика Е.И.В. двора профессора доктора Пеля и Сыновей, он прочитал в комнате в гостях у одного знакомого, вернее, обрушил поток, лавину прекрасных своих вещей, чистых какой-то своей первозданной чистотой и не похожих (но иногда близких по тематике своей и внутреннему нерву стихам Р. Мандельштама) ни на что ранее слышанное, он уверовал в то, что разум силен, что он движет другими умами, направляет их, возвышает и торжествует в своем восхождении.

Они встречались все чаще, и ежедневные их прогулки становились необходимыми для обоих, и где бы они ни бывали, к кому бы ни заходили, — везде он высказывал свою независимость просто и, иногда, резко, — но безыскусственно.

Противостояние Петра Брандта общественным мнениям и вкусам было врожденным. Его отца — Льва Брандта, написавшего замечательную книгу — "Браслет-2" (позже экранизированную), — долго гоняли по России без права проживания в столицах, и, видимо, еще с детства в нем наметилась и выросла уверенность в несовместимости, подчас обоюдной, личности и общества, в первородстве права ее на самоопределение.

Он был, в прямом смысле, рыцарем, странствующим ищальго, совершающим подвиги в честь дамы сердца, и стихи его были его молитвами, невзирая на предмет обожания:

Ты со мною нежна и ласкова —
Даже денег с меня не берешь.
Проституточка, черноглазка моя

.....

На смерть В. Грант
(Из цикла "Воры")

Дам у него, впрочем, было немало, но дама сердца — одна, единственная, красавица Н.

Но это было потом, а прежде была татарка или чухонка, а может быть, цыганка, которых так много в районе Подъяческих улиц, или Анна-Мария-Терезия — "дитя монастырской школы". Я не знаю, кто был дамой его сердца. Вероятно — все, и никто в частности.

Но однако же был написан "Татарский триптих", равного которому нет. Да и были ли они в поэзии вообще? Скорее в живописи голландской, в русской иконописи, а это — стихи, возникшие на основе народного песенного творчества.

К сожалению, в нем сказалась та неустойчивость психики, восприимчивость и ранимость, столь свойственная поэтам, художникам, — людям искусства. Признание себе подобных не тешило его тщеславие, дух, устремленный к Богу, чуждался торжества обыденности.

Когда, уже умирая, Татьяна Григорьевна Гнедич прочла эти вещи, она сказала, что "мы возвращаемся к истокам русского классического романтизма".

В самые тяжелые минуты своей жизни Вольский вспоминал эти вещи и ему делалось легче: дух торжествовал.

Так начиналось с католической молитвы одно из его стихотворений. Вольский как-то прочитал эти стихи в кругу людей, знавших Брандта. Читал трудно, с усилием преодолевая строчку за строчкой: слишком глубоко чувствовал он то, что произносил, вживался в этот образ, жил им.

Один из слушавших сказал:

— Да ведь это фанатик!

Да. Фанатик.

Без убежденности духа не может быть истинного искусства. Не искусство для искусства, а искусство ради торжества духа, красота которого и сила поднимают над обыденностью в пафосе самоуничтожения — истинная его правота, "мука вечного прозренья". (П.Б.).

Как же мог он пройти мимо такой личности как Савонарола? И ошибаются те, кто думает, будто бы под его влиянием забросил живопись Боттичелли, — ведь одна из лучших его работ — "Триумф Савонаролы".

Вазари преувеличивает. Позднейшие исследования показали, что у Боттичелли был свой дом с виноградником, и средства к существованию он, вероятно, имел. Конечно же, он сочувствовал Савонароле, но в число его сторонников "плакс" не вступал.

Викарий монастыря Св.Марка в период борьбы "озлоблен-

ных" и "серых" снискал себе популярность неистовой чистотой своей веры.

"Они говорят, что божественного провидения в мире нет, что во всем действует лишь случай, и не верят, что в Свя-
тых дарах присутствует Христос.

Здесь я стою, ибо поставил меня на этом месте Господь, и жду, когда он призовет меня, и я воскликну громким голо-
сом, который будет услышан во всем Христианском мире и за-
ставит трепетать тело церкви, как глас Божий заставил тре-
петать тело Лазаря!".

Виселица формой напоминала крест.

Это было 23 мая 1498 года.

Ему едва исполнилось 45 лет.

Под сильной тягой воздуха тело его заколебалось, и
верующим показалось, что в огненном столбе он поднял пра-
вую руку и благословил тот самый город, народ его, кото-
рый его сжигал.

Колокольня монастыря Св. Марка опустела. Колокол был
сослан, и в то время как его везли на телеге, палач стегал
его кнутом. Согласить веру и разум, религию и свободу было
не так-то просто.

Вольскому было жаль, что его отношения с Брандтом при-
обрели болезненный для обоих характер. Он вживался в его рит-
мы и образы, он стал тождествен ему во многом, что ка-
салось непосредственно поэзии, и страдал оттого, что чув-
ствовал эту близость, ранившую их обоих, и неизбежность ее
последствий — разрыв.

Видит Бог, он не хотел этого и до сих пор казнит себя,
хотя и не знает, в чем он виноват.

Роальд Мандельштам, у которого есть общие темы не
только с ранним Блоком, но и с Брандтом, такие как:

Я — варвар, рожденный в тоскующем завтра (Р.М.)

Я варвар, я германец (П.Б.)

Или: Мои друзья герои мифов,

Бродяги, пьяницы и воры.

Моих молитв иероглифы

Пестрят похабщиной заборы. (Р.М.)

Мое имя и в радость и в горе
Едва ль помянет молва.
Напиши его на заборе,
Как матерные слова. (П.Б. Из цикла "Воры")

Так вот, Рюальд Мандельштам писал в 50-х годах в балладе "Катилина":

Я предан изысканной пытке
Бессмысленный чувствовать страх
Подобно тоскующей скрипке
В чужих, неумелых руках.

Часто, слишком часто казалось Вольскому, что дух его оказался той самой скрипкой.

Брандт обретал веру во всем, что таило в себе жизнь, иногда непонятную и загадочную под покровом, который накидывает на явления ее саваны веков, ибо как можно еще объяснить его обращение от воров к "одиноким тени фараона".

Кривулин как-то сказал, что это Гумилев, но "хороший Гумилев".

Гумилев — это Гумилев. Он не может быть ни плохим, ни хорошим.

А Брандт — это Брандт.

Вот и все.

Петр слишком долго был одинок и, вероятно, зря не печатал своих стихов, хотя в Москве ему это в свое время предлагали, и когда вышел в печатную публику, печатную по двум экземплярам (один себе, другой для друга), публику, озлобленную противостоянием официозу и собственными внутренними раздорами, — оглох, обалдел от этого гвалта, но "с великой дороги не повернуть жрецам", и нужно было все это выносить, как бы ни было тяжело, или "исчезнуть, раствориться в предутренней мгле", и он пытался, но было поздно.

Вольскому казалось, что всему виной он. Ведь это он, Вольский, втащил его в этот чуждый ему мир, а он не смог его вынести, задохнулся от ярости: треснула скорлупа отчужденности, уступив место отчаянию.

Кузьминского Вольский увидел в последний раз перед самым его отъездом.

Он по-прежнему лежал на своем диване, даже не бледный, а какой-то весь позеленевший, землистый, то и дело утирая пот полой халата. Вокруг него сидели какие-то типы, похожие на гробовщиков.

Тогда Вольский впервые начитал на пленку "Первое послание Петру", и уехал в Среднюю Азию. Оттуда он послал в Москву, где был тогда Брандт, два других послания, не надеясь ни на ответ, ни на скорую встречу.

Вернулся он только через полгода.

Кузьминский уехал, увозя с собою чемодан рукописей, русскую гончую, Эмилию Карловну и 800 долларов под куском "Банного мыла", а они, оставшиеся, еще долго будут собираться, пить чай, за разговором потянется нить происходящего, прошедшего только что, и уже разбросанного вокруг, как скошенная неизвестно для чего сорная трава, отданная ветру и одинаково бесполезная и вечером, и днем, и даже ночью, когда сердцу в груди спокойно.
